

18+

АНДРЕЙ БЕЛЯЕВ-ШИМАНОВ



ВОДКА С МОЛОКОМ

БЫЛЬ О ДЕВЯНОСТЫХ



Андрей Беляев-Шиманов

Водка с молоком

«Издательские решения»

Беляев-Шиманов А.

Водка с молоком / А. Беляев-Шиманов — «Издательские решения»,

НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН И ВЛЕЧЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Герой возвращается в родную деревню и заново проживает свои 90-е. Это мир, где право на жизнь доказывали мозолями, любовь — молчаливым трудом, а домашнее молоко быстро сменялось водкой, глушащей боль потерь. Автобиографическая проза о мужском взрослении в провинциальной России. Пронзительная история о травме целого поколения и попытке разорвать цепь семейного молчания, чтобы не передать эту глухую боль по наследству своему сыну.

© Беляев-Шиманов А.

© Издательские решения

Содержание

ПРОЛОГ	6
ЧАСТЬ 1. КУПОЛ СЛЕПОГО ДОВЕРИЯ	8
Глава 1. Два километра свободы	8
Глава 2. Далёкая река	10
Глава 3. Побег к пиявкам	12
Глава 4. Волшебная палочка	14
Глава 5. Ночь на сеновале	16
ЧАСТЬ 2. ВИЛЫ И МЕДАЛИ	18
Глава 6. Вилы и медали	18
Глава 7. Кремень и щепки	21
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Водка с молоком

Андрей Беляев-Шиманов

© Андрей Беляев-Шиманов, 2026

ISBN 978-5-0070-7458-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

В книге присутствуют сцены и упоминания употребления алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, насилия, смерти, суицидального поведения.

Упоминание указанных тем обусловлено художественным замыслом и историко-бытовым контекстом повествования. Автор не пропагандирует употребление алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, не оправдывает насилие, противоправное или само-разрушительное поведение.

Произведение является автобиографической прозой с элементами художественного вымысла. Некоторые имена, обстоятельства и детали изменены.

ПРОЛОГ

Моей семье. Родителям, совершившим ради нас с сестрами и братом возможное и невозможное. Моей жене за ее безусловную веру в меня. Моим детям за безграничную любовь. И моему другу. Если бы не ты, эти страницы никогда бы не были написаны. Спасибо за вдохновение и за тот свет, который ты оставил в моей памяти.

Летний полдень. Городской асфальт плавится в пробках. Из автомобильных колонок тихо хрипит «Брод» Бориса Гребенщикова¹, старая песня про Колю, вино и потерянную волю.

Серебристый «универсал» стоит в глухой пробке. Окно приоткрыто — жара. По тротуару мимо неспешно проходит мужик лет пятидесяти, в джинсах и расстёгнутой рубашке. Через открытое окно в салон залетает шлейф — тяжёлый, с сандалом и бергамотом. Резкий. Въедливый. Я ни с чем не мог бы его спутать.

Dragon Noir².

Пальцы на руле сжимаются сами.

Он втихаря брызгался им из отцовского флакона перед тем, как зайти за мной. Этот удушливый запах до сих пор способен выдернуть меня из уютного салона автомобиля и швырнуть обратно. В детство. На сырую землю.

Он сидит на моём животе, коленями придавил мои запястья к земле. Спину холодит грязь. Из глаз рвутся злые слёзы, а он смотрит сверху вниз и криво, расслабленно ухмыляется. Так улыбаются пацаны, которым абсолютно нечего терять.

Толяна больше нет.

Весть об этом настигла меня на перроне, у второго пути. Станция гудела, электричка уже подлетала к платформе. Знакомая девчонка, шедшая навстречу с размазанной тушью на щеках, произнесла два сухих предложения:

— Еду на похороны. Умер Толян.

Я онемел. Дорожная сумка тяжело ухнула на грязный асфальт. Глаза вдруг стали обжигающе горячими. Дрожащими пальцами я машинально достал синий LM. Мы зашли в тамбур между вагонами и просто молча курили под лязг сцепок, пока электричка не дёрнулась и не покатилась вперёд.

Впервые в жизни я потерял по-настоящему близкого человека.

Мы родились в середине восьмидесятых в деревне, прилипшей к провинциальному городку. Толян был старше меня чуть больше чем на год — на улице это давало безоговороч-

¹ признан Минюстом РФ иностранным агентом

² Dragon Noir («Чёрный дракон») — мужская туалетная вода массового сегмента, популярная в 90-е годы. Стойкий, резкий, агрессивный аромат. Для целого поколения подростков дешёвый флакон с хищным принтом на коробке стал первым парфюмом и первым символом взрослости.

ное преимущество. Наше детство пришлось на время, когда старая эпоха рухнула. Время шло по людям, как трактор по полю, — не разбирая, кто под колёсами.

Эта книга — про тех, кто прошёл сквозь ту мясорубку. Про пацанов, которые остались лежать в сырой земле. И про то, как важно было вовремя нажать на тормоза.

Толян не смог. Но он остался. Внутри меня — навсегда.

Руль в руках, трафик позади, спинка кресла откидывается на пару щелчков назад. За городом высотки расступаются, дорога выдыхает. Можно навалить звука, пристроиться за юрким красным хэтчбеком и просто ехать.

Солнце бьёт прямо в лобовое. Пальцы привычно нащупывают на панели антибликовые очки. Стоит их надеть, как мир за стеклом взрывается цветом: небо становится пронзительно-синим, зелень на обочинах — густой и сочной. Пространство разом делается огромным и светлым.

Как тогда. В самом начале.

ЧАСТЬ 1. КУПОЛ СЛЕПОГО ДОВЕРИЯ

Глава 1. Два километра свободы

Самое раннее воспоминание: пыльный асфальт с вкатанными в него мелкими разноцветными камешками. И мои ноги в коричневых сандалиях. Очень близко.

Мне три года. Пункт А — наш дом. Пункт Б — дом деда и бабушки. Между ними — два километра. Я иду один. В кулаке намертво зажат пластмассовый игрушечный солдатик. С ним идти не так страшно — с другом всегда смелее. В памяти не осталось ни паники, ни понимания, куда делись родители. Только ощущение огромного, раскинувшегося во все стороны мира. Деревья казались подпирающими небо великанами, а тёплый ветер касался лица ласково, как мамина рука. Помню, как уже почти у цели я остановился на старом деревянном мостике. Замер, глядя вниз, на живую, бликующую на солнце воду, и пытался разглядеть там рыбок.

Мимо шли прохожие. Никто не бросился ко мне, не схватил за руку, не поднял панику с криками «Чей ребёнок потерялся?!». Трёхлетний пацан, топающий в одиночку по улице советской деревни, ни у кого не вызывал вопросов. Все были свои. И я дошёл.

Сейчас мне за сорок. У меня есть дети. И от одной мысли об этой сцене по спине ползёт холодный пот. Маленький ребёнок — один, на два километра. Я купил сыну GPS-трекер. Маниакально проверяю камеры на домофоне. Я знаю, где он находится, каждую секунду. А тогда никаких трекеров не существовало. Был только невидимый купол тотального, слепого доверия к миру — и молчаливый уговор с жизнью: иди, ты справишься.

Этот купол в нашей семье держался на одном человеке. На маме. Вся наша уличная вольница, прятки по заброшенкам и одиночные походы были бы невозможны без одного железобетонного факта: нам всегда было куда возвращаться. Там, дома, бесперебойно работал невидимый, абсолютно надёжный тыл.

Если бы потребовалось описать маму через одно физическое ощущение — это были бы её руки. Очень тёплые. Гладкие с внешней стороны, но стоило ей перевернуть ладонь — и кожа оказывалась жёсткой, покрытой плотными, вьёвшимися мозолями. По образованию строитель, она оказалась в нашей деревне по лёгкому росчерку пера какого-то советского чиновника — приехала по распределению. Встретила отца, да так и осталась, променяв чертежи на деревенский быт, который не заканчивался никогда.

Откуда в ней бралось столько сил — загадка. Работа в администрации, весь дом на плечах, корова в пять утра, шестеро за столом — и ещё шить. В эпоху тотального дефицита она кроила нам одежду из того, что удавалось достать. Перешивала старое, ставила заплатки там, где мы рвали ткань в клочья. Брату Васе сшила штаны и куртку, мне связала толстый синий свитер с корабликом и солнцем. А по вечерам, закончив с делами, садилась с нами играть в шахматы и шашки — и хладнокровно раскатывала нас в пух и прах.

Бабушку по материнской линии я видел всего пару раз в жизни. Мне было года четыре, когда мама объявила, что мы едем к ней в гости. Поезд, двенадцать часов в пути. Отец поехать

не смог, просто проводил нас ночью на перрон. Весь груз ответственности за трёх бешеных, неуправляемых детей лёг на мамины плечи.

Ночной вокзал пах по-особенному: тяжёлым маслянистым креозотом от шпал и горьким угольным дымом. Мы забрались в плацкарт, уснули под перестук колёс, а утром пошли вразнос. Носились по вагону, выпрашивали еду у соседей, лезли на третьи полки. Не помню ни единого маминого крика или срыва. Она просто гасила этот хаос своим непробиваемым спокойствием.

Самое неожиданное ждало нас прямо на перроне. Мы вывалились из вагона в толчею, и оказалось, что здесь же наша бабушка продаёт клубнику. Сладкую, сочную, насыпанную в скрученные из старых газет кулёчки. Для старушки в те годы это был способ выжить. Она не сразу нас узнала. А когда поняла, кто перед ней, расплакалась, бросилась обнимать и отдала нам всю свою ягоду. Весь свой заработок до последней копейки. Мы смели эту клубнику моментально, измазав лица и руки красным соком.

Во время той поездки, гуляя по городку, мы зашли в местный магазин. На витрине я увидел её. Гитару. Настоящую, блестящую. Я замер перед ней, захотел её до одури, до слёз. Но мы просто пошли дальше — купить было не на что. Такие отказы не объяснялись словами, они просто впитывались в нас как данность времени.

Мы росли в мире, где не принято было раскидываться нежностями. Сказать вслух «я тебя люблю» считалось чем-то лишним, почти стыдным — слова в нашем доме застревали в горле. Но любовь имела конкретный физический вес. Она измерялась тяжёлой чугунной сковородкой с горячей жареной картошкой, ждущей на столе. Тем самым синим свитером с корабликом. Кулёчком клубники, за который отдали дневную выручку. Тем фактом, что двери дома никогда не запирались.

И пока этот тыл, державшийся на вьёвшихся мозолях маминых рук, был жив — мы могли смело толкать калитку и уходить в наш огромный, пугающий уличный мир. Зная, что нам всегда есть куда вернуться.

Красный хэтчбек давно ушёл в отрыв. Я немного сбросил скорость. Трасса делает плавный изгиб и уходит под горку. Машина мягко скатывается в низину, и на обочине мелькает синий дорожный знак с белыми буквами — название какой-то мелкой, неприметной речушки.

Вспышка.

Знак пропадает в зеркале заднего вида, но этого мимолётного кадра хватает. Меня накрывает воспоминанием о другой воде. О нашей реке. О том дне, когда Толян впервые показал нам, как нужно шагать в бездну.

Глава 2. Далёкая река

Если бы родители доподлинно знали, чем мы занимаемся целыми днями, калитка двора закрылась бы для нас навсегда. Но они, скорее всего, обо всём догадывались. Это поколение само выросло по суровым правилам, где уличная свобода шла рука об руку с умением выживать. Негласный договор передавался по наследству, как группа крови: делай что хочешь, но вернись живым к ужину.

Мне было около пяти. Толян — шесть с половиной. На улице эта разница превращалась в пропасть и делала его непререкаемым вожаком. Стояло одуряюще жаркое летнее утро, когда наша стайка из семи-восьми пацанов решила проигнорировать привычный, изученный вдоль и поперёк Солдатский пруд. Инициатором, как всегда, выступил Толян. Цель — далёкая, почти мифическая река. Ни еды, ни воды в дорогу никто не взял. Желудки были пустыми, зато головы под завязку набиты жаждой открытий.

В том возрасте земля казалась ближе, а деревья — выше. Любое расстояние растягивалось до масштабов эпического похода. Обогнув пруд и тоскливо сглотив при виде его прохладной глади, мы вышли на бетонку — трассу из массивных трёхметровых плит. От раскалённого бетона несло жаром, воздух впереди плавился и дрожал мелкой рябью. Дорога вела в областной центр. Дед со смешком вспоминал времена, когда по этой грунтовке мужики на лошадях гоняли в город за спиртом: путь долгий, тряский, зато возвращаться всегда было весело. Теперь по этой обочине, мимо бескрайних полей, пылила наша босоногая пехота. Река казалась миражом. Марш-бросок занял около полутора часов, но главное испытание ждало в самом конце.

Бетонка пересекала реку по автомобильному мосту. Для пятилетних шпингалетов он выглядел настоящей громадиной. Метра четыре высоты, не меньше. Сейчас, проезжая по этой трассе к родителям, я иногда смотрю вниз и не могу поверить, что мы вообще оттуда прыгали.

Первым, естественно, прыгнул Толян. Перелез через перила, встал на узкий бетонный выступ, бросил на нас торжествующий взгляд и крикнул: «Смотрите, как я!» — и просто шагнул в пустоту. Он умел задавать такую планку бесстрашия, рядом с которой любой нормальный страх казался позорной трусостью.

Подходить к краю было до одури страшно. Пугало всё: высота, слепящие блики, неизвестность того, что скрывает дно. Далеко внизу, зажатая зелёными травянистыми берегами, неслась тёмно-коричневая, непрозрачная вода. За секунду до отрыва сердце колотилось где-то в горле. Я смотрел вниз, и у меня сводило живот. Но Толян уже вынырнул и победно орал снизу. Остаться на мосту значило навсегда вычеркнуть себя из стаи.

Шаг.

Падение длится секунду, но мозг растягивает её в тягучую вечность. Ветер свистит в ушах, а потом — жёсткий, обжигающе холодный удар воды, вышибающий из лёгких весь дух. Вынырываешь, судорожно хватаешь ртом воздух и вдруг понимаешь: ты жив. Ты сделал это. Животный ужас мгновенно переплавляется в чистый адреналиновый восторг, требующий немедленного повторения.

Река была узкой, метров десять, но с быстрым течением и приличной глубиной. Правил безопасности никто не озвучивал, но каждый каким-то нутром понимал: заплывать далеко нельзя. Течение не простит. Пока мы с воплями крутили сальто и «солдатики», по мосту проносились фуры и легковушки. Водители иногда сигналили, с удивлением разглядывая летящую вниз мелюзгу. Но ни одна машина не остановилась. Никто не вышел из кабины, чтобы прогнать нас или прочитать мораль. Мир взрослых равнодушно летел по своим делам, не вмешиваясь в наши.

Мы прыгали снова и снова, пока даже под палящим солнцем не начали стучать зубами — вода была ледяной. А когда кураж иссяк, на его место пришёл голод. Дикий, выворачивающий желудок, знакомый только детям после долгого купания.

Двинули домой. Обратный путь под жестоким полуденным солнцем превратился в пытку. Мы едва волочили стёртые о бетонку ноги и вслух бредили о еде. Представляли, как ввалимся в дом, а там — первое, второе, компот. Только эти голодные миражи и заставляли переставлять ноги.

На нашей улице мы с Толяном устало пожали друг другу потные руки и разошлись по дворам. Дверь дома поддавалась тяжело. Внутри ограды стояла прохладная тишина. Было около двух часов дня, мама ещё была на работе, но на плите, как всегда, ждал обед. Чугунная сковорода, до краёв наполненная жареной картошкой. А рядом, в деревянной хлебнице — половинка свежего, ноздреватого хлеба.

Я набросился на эту сковородку, как одичавший зверёк. Ел торопливо, обжигаясь, закидывая в рот огромные куски. Я до сих пор абсолютно точно знаю: это была самая вкусная картошка в моей жизни.

Больше мы никогда не ходили на ту реку пешком — позже старшие ребята сколотили на Солдатском пруду отличный трамплин. Но вкус той первой свободы, густой, солоноватый от пота и речной воды, впитался в память намертво. Свободы, за которую ты платил стёртыми в кровь ногами и первобытным страхом, но получал взамен абсолютный триумф. И сковородку жареной картошки.

Тогда наша воля осталась безнаказанной.

В салоне машины тихо шелестит климат-контроль, но через лобовое стекло полуденное солнце ощутимо печёт мне колени. Я тянусь к дефлектору, перенаправляю поток ледяного воздуха на лицо и вспоминаю другую жару. Одурающую, липкую жару, во время которой свобода впервые потребовала от нас заплатить кровью.

Глава 3. Побег к пиявкам

Поход на реку был дерзким, опасным, но всё же он укладывался в рамки нашего уличного времени. За забором дома действовали негласные законы: делай что хочешь, главное — выживи. А вот детский сад был Системой. Со своим расписанием, тихим часом, жёсткими границами и надзирателями. И если я воспринимал эти правила как данность, то Толян с самого детства чувствовал физическую потребность проверять их на прочность. Он просто раскачивал заборы, а я попадал под раздачу.

Стояла жара — та тяжёлая, душная, какая бывает только в конце июня. Нашу группу вывели на прогулку. Сегодня детский сад напоминает режимный объект: магнитные замки, камеры, высокие заборы из металла. В начале девяностых вся безопасность сводилась к крику деревянному штaketнику и уставшей воспитательнице, дремлющей на солнцепёке.

Мы лениво ковырялись в раскалённом песке, когда Толян подошёл ко мне. В его голосе не было вопроса. Буднично, как о давно решённом деле, он предложил сменить это унылое заточение на волю. План звучал безумно: сбежать купаться на Старый пруд. Этот водоём находился неподалёку от местной конюшни. Взрослые там не появлялись: дно давно заилилось, вода застоялась, густо пахла лошадиным навозом, а главное — там кишели пиявки. Но разве такие мелочи могли остановить двух пятилетних пацанов, почуявших запах свободы?

Дождавшись момента, когда воспитательница отвернулась к другой стайке детей, мы просто просочились сквозь щель в штaketнике. Сердце колотилось где-то в горле. Мы обманули взрослых — и это было невозможно, запрещено, и именно поэтому так хорошо. Окрылённые побегом, мы рванули к устью пруда, туда, где берег плотно зарос высокой осокой и рогозом.

В зарослях стоял тяжёлый дух тины, прелой травы и нагретой на солнце стоячей воды. Скинув сандалии и шорты, мы с разбегу ввалились в мутную тёплую жижу. Дно чавкнуло, ил мгновенно облепил ноги по щиколотку. Сначала держались тихо. Но вода быстро сделала своё дело. Вскоре мы уже всю плескались, хохотали и орали на всю округу. Толян на ходу выдумывал состязания и в каждом обязательно находил способ стать безоговорочным победителем. Он не просто купался в этой грязи — он владел ею.

Бродя по илистому мелководью, я вдруг наткнулся на неё. Мёртвая рыба. Плавала кверху брюхом, слегка покачиваясь на мутной ряби, а к тусклой чешуе намертво присосались чёрные, жирные, лоснящиеся пиявки. Зрелище было омерзительным и завораживающим одновременно.

Я замер.

А потом мы вышли из воды и посмотрели на свои ноги. На коже висели чёрные набухшие ленточки. Я попытался смахнуть их рукой. Не тут-то было. Пиявки оказались скользкими и удивительно прочными. Тянешь — а она пружинит, оттягивая твою собственную кожу, и наконец с влажным чмоканием отрывается, тут же намертво прилипая к пальцам. Не больно, но омерзительно. На икрах оставались идеально круглые ранки, из которых тонкими струйками сочилась кровь, смешиваясь с грязной прудовой водой.

Именно по нашим истошным крикам нас и вычислили. Воспитательница появилась в осоке — лицо белое, голос на два тона выше обычного. Нас, мокрых, перемазанных вонючим илом, с кровоточащими ногами, жёстко выдернули на берег. Она орала так, что звенело в ушах. Обещала милицию и родителей.

Я стоял, опустив голову. Меня трясло. По ногам текла кровь, мне было безумно стыдно, страшно, и я уже сто раз пожалел, что полез через этот забор. Я скосил глаза на Толяна. Воспитательница больно трясла его за плечо, отчитывая на повышенных тонах. По его ногам тоже сочилась кровь. Но он не опускал глаз. Он смотрел прямо на неё, а на его измазанном грязью лице медленно расплывалась дерзкая, абсолютно счастливая ухмылка. Страх наказания не имел над ним никакой власти. Он только что попробовал правила на зуб — и ему понравилось.

Кровь, прокушенные ноги и жёсткие воспитательные меры быстро учили меня суровой физике взрослого мира. Но детская психика отказывалась принимать реальность, состоящую исключительно из заборов и боли. Чтобы выжить в ней и не сойти с ума, нам отчаянно требовался противовес. Грань между обыденностью и магией.

Глава 4. Волшебная палочка

После инцидента с пиявками садик окончательно превратился в режимный объект. За нами установили пристальное наблюдение. Особенно за Толяном — он был в старшей группе, и воспитатели пасли его, как опасного рецидивиста.

Меня же вернули в младшую. Там шла своя, менее кровавая, но не менее жёсткая возня за авторитет. Каждый доказывал свою крутизну как мог: кто-то приносил редкую игрушку, кто-то быстрее всех бегал. Мне позарез нужен был свой козырь.

В нашей группе был мальчик Павлик. Периодически он заговорщицки оглядывался и шёпотом сообщал, что у него дома, на запертом чердаке, спрятана настоящая волшебная палочка. Она исполняет любые желания. Мы, пятилетние уличные реалисты, разумеется, делали вид, что не верим. Но Павлик стоял на своём упрямо и вдохновенно: палочка есть, работает безотказно.

В то лето мы целыми днями пропадали на Солдатском пруду. Вода там была тёплой, как парное молоко, и стоило стайке ребятни взбаламутить дно — она мгновенно становилась рыжей от жирной глины. У меня были светло-голубые хлопковые плавки. Глина въедалась в них намертво, и когда я выходил на берег, зрелище было жалким. Со стороны казалось, будто я просто жидко обосрался.

Толян, заметив это, заржал на весь пруд. Потом перестал, но этот смех успел меня обжечь. Я чувствовал себя униженным и мечтал о чёрных трусах. На них грязь не видна. Чёрный — это цвет силы и взрослости. В чёрных плавках ты неуязвим, и никто над тобой не поржёт. Я никому не говорил об этом желании. Просто искренне желал.

И чёрные плавки появились. Просто материализовались. Я выдвинул ящик — а они там. Сегодня я понимаю, что это обычное бытовое совпадение, за которым стояла уставшая мать, которой надоело отстирывать глину. Но для меня, пятилетнего, это стало неопровержимым знаком. Магия работает. Павлик не врал.

На следующий день после садика я подошёл к нему и твёрдо сказал:
— Я готов. Веди на чердак. У меня есть желание.

Паша предсказуемо замялся. Сегодня неудобно, родители дома, сестра мешает. Давай завтра. Но я уже закусил удила. Придя домой, я с видом человека, сорвавшего джекпот, наобещал брату Васе, сестре Ирине и родителям, что завтра вечером вернусь не с пустыми руками. Я приеду на собственной машине. На огромном зелёном КамАЗе с номером «1880» — точно как у отцовского грузовика, только лучше. Я буду деловито крутить баранку и подкачу прямо к нашему двору. Вася уронит челюсть, Ирина застынет с выпученными глазами, а на пассажирском сиденье рядом со мной будет сидеть сам Электроник из фильма.

Семья смотрела на меня с теми самыми снисходительными улыбками, которые взрослые считают умильными, а дети — глубоко оскорбительными. Но я не обижался. Я знал то, чего не знали они: в моём комодке лежали неоспоримые чёрные трусы. Во время садиковского тихого часа я не спал. Я лежал, зажмурившись, и до деталей продумывал свой триумф с зелёным грузовиком.

А вечером Паша снова слился. Нашёл очередную отмазку про родителей и запертую дверь.

Домой я возвращался пешком. Мечта о зелёном КамАЗе рассыпалась в пыль. Брат с сестрой откровенно надо мной поржали, и этот смех резанул сильнее, чем предательство трусливого Паши. Я долго злился. И даже не на мелкого врунишку, а на самого себя — за то, как безоговорочно поверил в сказку.

Мы росли в эпоху, которая быстро отучала верить на слово. Учились проверять факты, ждать подвоха, рассчитывать только на себя. Желание верить в чудо никуда не делось — просто ушло глубже, туда, куда не достаёт ни насмешка, ни здравый смысл.

Спустя много лет, когда мы с женой отчаянно захотели ребёнка, начался ад. Врачи, анализы, холодные коридоры клиник. Вердикт уролога был сух: нужна операция. Я покорно лёг под нож, позволил себя разрезать, зашить и отправился на долгую реабилитацию. А через месяц жена сказала: «Я беременна». Мы пересчитали сроки. Зачатие произошло до операции. До всех этих скальпелей, наркозов и медицинской суеты. Природа просто сделала всё сама. У нас родился сын.

Иногда мой мальчик смотрит на меня с такой безоговорочной, чистой верой во всё происходящее, что я вижу в его глазах отражение того самого пацана, мечтавшего о зелёном КамАЗе.

Чудеса случаются. Просто они не приходят по нашему заказу в тихий час. И чтобы получить своё настоящее чудо, иногда нужно сначала пережить крушение иллюзий.

Тогда, в пять лет, я навсегда попрощался со сказками. Зелёный КамАЗ так и не приехал. Но моё безоблачное детство закончилось чуть позже — в тот вечер, когда самая главная дверь в моей жизни вдруг отказалась открываться по-настоящему.

Глава 5. Ночь на сеновале

В то беззаботное лето, когда мне было немного за шесть, мы со старшим братом Васей и сестрой Ириной проводили на улице дни напролёт. Жили мы тогда в старом деревянном доме: кухня-гостиная, спальня и массивная русская печка в самом центре — наша главная спасительница в лютые зимы. Слева к избе примыкала летняя веранда, но попасть туда можно было только изнутри. Зато из ограды вел прямой лаз в хлев — крытое помещение для скотины. А прямо над ним, под самой крышей, располагался сеновал, который каждое лето забивался сухой, пахучей травой.

В тот вечер мы гуляли большой компанией на поляне в центре деревни. Перед тем как выпустить нас за калитку, мама несколько раз, чеканя слова, повторила:

— Чтобы в девять были дома.

Мы, естественно, закивали и тут же умчались растворяться в сумерках. На поляне тон задавали Толян и его старшая сестра. Когда солнце начало цепляться за верхушки деревьев и кто-то из ребят робко заикнулся, что пора расходиться по дворам, Толян включил свою уличную магию. Он безошибочно умел брать «на слабо». Ему хватило пары фраз, насмешливого взгляда и правильной интонации, чтобы поход домой показался нам унылым, позорным бегством, а остаться на поляне — делом чести. Он умел делать так, что ты сам хотел нарушить правила, только бы не упасть в его глазах.

Мы остались. Чувство времени отключилось напрочь. Спыхватились только тогда, когда плотные сумерки окончательно накрыли деревню. Поняв, что сильно влипли, мы втроём рванули к дому и вбежали в ограду, когда стрелки давно перевалили за девять.

У дома нас не ждали ни злая мама со скалкой, ни строгий отец с ремнём. Нас ждала абсолютно глухая, закрытая деревянная дверь. Сначала это показалось забавным препятствием. Мы с Васей, как заправские шпионы, пролезли через окно в коровник, оттуда через лаз поднялись на сеновал, спустились внутрь ограды и изнутри открыли засов Ирине. Мы чувствовали себя отрядом спецназа на секретном задании. Было даже весело.

Набравшись смелости, мы подошли к самой избе. Дернули ручку. Дверь была заперта изнутри на замок — тот самый, что никогда у нас раньше не использовался. Мы начали стучать. Сначала робко, потом настойчивее. Никакого ответа. Вышли на улицу, стучали в окна, пытаясь заглянуть сквозь плотные занавески. Ни щелочки света, ни звука.

И тут накатил густой, тяжёлый страх, переходящий в панику. Куда делись родители? Почему молчат? Бросили? Спасало лишь то, что я не был один. Вася и Ирина держались подчеркнуто уверенно, переговариваясь короткими, резкими фразами, оценивая ситуацию. Минут через сорок безрезультатных попыток достучаться пришло окончательное понимание: никто не откроет. Нужно искать ночлег.

Выбор был невелик. Мы полезли на сеновал. Там стояла густая, тёплая темнота. Пахло нагретой за день шиферной крышей, пылью, сухой травой и чуть подвяленными полевыми цветами. И, конечно, навозом. Мы были одеты по-летнему легко, и сухое сено безжалостно кололось, забираясь под одежду, но вскоре приняло форму наших тел. Мы сбились в кучу.

Под нами жил своей ночной жизнью хлев. Звуки шли непрерывно. Коровы лежат мерно, словно часы, жевали жвачку из сена. Изредка громко причмокивали свиньи, с глухим стуком почесывая упругие бока о деревянные перегородки. А в углах двора постоянно что-то шуршало. Без сомнений — крысы. Сначала от этих шорохов мы вздрагивали и жались друг к другу, но постепенно эта странная колыбельная из живых звуков, чавканья и дыхания животных сделала своё дело. Наши нервы сдавались — и мы заснули.

Ближе к утру воздух остыл и стал влажным. На сеновале сделалось зябко. Мы проснулись около пяти — казалось даже, что изо рта идёт пар. За стеной хлева уже легла густая холодная роса, солнце только вставало. Начинался новый день, маме пора было идти кормить скот и доить коров.

Почти сразу внизу скрипнула дверь дома. Вышла мама. Абсолютно будничным голосом позвала завтракать. Никаких нотаций. Никаких криков. Нас вообще не ругали в тот день. Мы просто молча поели и пошли по своим делам.

Я не помню лиц родителей в то утро. Но теперь, сам будучи отцом, знаю: мама не спала всю ночь. Она сидела в темном доме и вслушивалась в каждый наш шорох на сеновале, переживая до остановки сердца. Просто тогда не было принято объяснять детям всё словами. Родители не стали читать нам нотации — они позволили пережить последствия.

Урок был не в послушании. Урок был жёстче: дал слово — держи. Если не держишь — будь готов, что мир станет к тебе равнодушен и закроет перед тобой все двери.

В ту ночь купол слепого доверия дал первую трещину. И сквозь неё пахнул холодный, суровый сквозняк взрослой жизни.

Серебристый универсал с аппетитом пожирает километры асфальта. Опускаю стекло, и в салон врывается плотный, горячий ветер. Дорога уводит всё дальше от мегаполиса, через районы, где вдоль обочин тянутся бескрайние поля.

Кое-где на горизонте виднеются кирпичные, заброшенные остовы старых коровников — пустые скелеты той великой колхозной эпохи, что не пережила девяностые. Ветер заносит в приоткрытое окно резкий, густой запах нагретой на солнце земли, полыни и свежескошенной травы.

Инстинктивно крепче сжимаю нагретый руль. Короткий взгляд на собственные ладони. Сейчас они чистые и гладкие — руки офисного человека, жителя города. Но стоит уловить запах скошенного сена, как мышечная память мгновенно возвращает забытое ощущение: грубое, саднящее жжение, первые мозоли, лопнувшие до крови. Мне семь лет. И я впервые беру в руки вилы.

ЧАСТЬ 2. ВИЛЫ И МЕДАЛИ

Глава 6. Вилы и медали

Мы родились в последние годы советской эпохи, когда многодетная семья в деревне была нормой, а не подвигом. Старый режим уже готовился схлопнуться, но мы этого не знали. Зато с самого раннего детства мы усвоили другой неписанный закон: в деревне дети — это не просто радость. Это рабочие руки. Бесплатные, свои, без которых хозяйство просто пойдет ко дну.

Мне исполнилось семь. Это означало не только то, что осенью я пойду в школу. Был и другой вывод: мое беззаботное детство официально закончилось. Отец протянул мне вилы и совковую лопату. Молча. Ничего не объяснял — в нашей семье вопросы «зачем» не обсуждались. Есть работа, есть руки. Остальное лишнее.

Стоял жаркий, солнечный день. Отец завел меня в хлев, внутрь свиного отсека. Через маленькое оконце пробивался луч света, в котором танцевала густая пыль. Внутри стояла влажная полутьма, а в нос мгновенно ударил аммиак — едкий, въедливый, как клей. Приятного мало, но в деревне к этому относились с абсолютной практичностью. Запах — это просто издержки. Выживание — это мясо и молоко, которые дает скотина.

Задача была понятной, но для семилетнего пацана почти неподъемной. Детских вилок не существует в природе, поэтому приходилось привыкать ко взрослым. Черенок был длинноват, зато абсолютно гладкий — отполированный сотнями часов чужой трудовой повинности. Сначала нужно было загнать свиней в угол, чтобы не путались под ногами, а потом чистить загон, перекидывая навоз через перегородку высотой метр семьдесят. Для меня это был почти потолок. Свиньи — умные животные, они четко зонировуют пространство: в одном углу сухо, там они спят, в другом — жидкое месиво для нужды.

Этот навоз был тяжелым, неподатливым. Местами он намертво врос в щели, спрессованный копытами. При каждом броске жижа брызгала, попадая на одежду, а иногда и на лицо. Руки быстро налились свинцом, вилы отказывались лететь вверх.

Я как раз выкидывал очередную порцию вонючей жижи через окно на улицу, когда вдоль соседних огородов нарисовалась компания. Толян и еще несколько наших пацанов. На них были только шорты, на плечах болтались скрученные полотенца. Они шли на Солдатский пруд.

— Эй, Андрюха! — крикнул Толян, остановившись у забора.

— Бросай говно, погнались купаться!

Я замер с вилами в руках. Устал. Плечи ныли. Лицо хотелось немедленно отмыть от липких брызг. Сблужив бросить всё и побежать за ними в прохладную воду был невыносимым. Но я вспомнил, как отец молча протянул мне гладкий черенок. Он рассчитывал на меня. Скоро он придет проверять. Стать в его глазах слабаком, не сдержавшим уговор, было страшнее любой жары.

— Не могу, — крикнул я в ответ, утирая пот грязным предплечьем. — Надо докидать.

— Да ладно тебе! — засмеялся Толян своей легкой, свободной улыбкой. — Навоз не убежит. Погнались!

Они ушли, громко гогоча, а я стиснул зубы и вернулся к куче. В тот момент между нами пролегла первая невидимая граница.

Вскоре пришел отец. Он молча оценил объем проделанной работы, помог мне докидать навоз и утоптать его. Тяжело выдохнул, хлопнул меня по плечу тяжелой ладонью и сказал: — Молодец. Теперь свободен. Беги на пруд.

Я летел к воде так, будто за мной гнались черти. С разбегу нырнул в Солдатский пруд, смывая с себя пот, запах аммиака и липкую усталость. Я смотрел, как Толян и пацаны бесятся на мелководье, и вдруг остро, почти по-взрослому понял: я поступил правильно.

Их отдых был просто бездельем. Мой — был заслуженным.

К вечеру на ладонях вздулись первые водянистые мозоли. Я смотрел на них не со слезами, а с гордостью. Это были мои первые медали за труд.

С того дня моя жизнь тоже стала подчинена хозяйству. Родители давно были намертво привязаны к дому. Мама доила корову каждый день — в пять утра и в шесть вечера. Без выходных, праздников и отпусков. Отец выступал главным бригадиром: он продумывал план, а потом лично или через маму раздавал задания. Работа находила нас после школы, в выходные, а летом мы целиком и полностью находились в ее власти. Лишь вечером, после ужина, можно было выдохнуть.

Колхоз доживал свои дни. Перед самым развалом он успел поставить нам кирпичную коробку нового дома — мы выросли из старого деревянного сруба. Эту коробку предстояло достраивать своими руками долгие десять лет. Стройка шла параллельно с нашим взрослением и сезонными битвами за урожай. Самой главной битвой всегда был сенокос.

В июле, когда трава набирала максимум силы, отец цеплял косилку к нашему небольшому трактору «Владимирец». Тяжелый, ровный рокот его мотора во дворе сразу давал понять — время пришло. Отец уезжал на делянки часов в шесть вечера, после основной работы, и возвращался в ночи. У трактора была узкая база. Пару раз при покосе на склонах машина заваливалась на бок. Отец возвращался домой поздно, весь в крови от порезов, но никогда не ныл и не жаловался. Он просто решал проблему: звал мужиков с тросом, ставил трактор на колеса и ехал дальше. От этих падений у «Владимира» не осталось стекол, а кабину перекосило так, что новые вставить было невозможно. Зато сам кузов не дребезжал — настоящий советский монолит. Внутри было жесткое черное дерматиновое сиденье, на которое мама заботливо сшила подушечку из старой шторы, чтобы отцу было хоть немного удобнее. Без стекол летом кабина продувалась, заменяя кондиционер, зато зимой ветер пробирал до костей. Но отец ездил на том, что было.

Самое интересное начиналось через три-четыре дня, когда трава подсыхала. Наступало время ручного труда. Приезжали родственники — дед рассказывал, что раньше так ставили дома, всем миром. Мы брали грабли и шли ворошить. Работать в июльскую жару было невыносимо. Пот лился рекой. В воздухе стоял гул от паутов и мошкар, к вечеру их сменяли тучи комаров. Когда мы сгребали сено в валы, нужно было внимательно смотреть под ноги, чтобы не напороться на земляных пчел или шмелей. Меня жалили пару раз — до слез больно, но от работы это не освобождало. Порядок был заведен железный: бабы и дети работали граблями, мужчины брались за вилы и метали сено на машину.

Помню, как однажды зарядили долгие дожди. Мы переворачивали сено раз за разом, пытаюсь спасти урожай, но оно всё равно сгнило. Мы сожгли его прямо там, на делянке. Огромный черный дым поднимался в серое небо. Недели тяжелого, изматывающего труда всей семьи ушли в никуда. В тот день я впервые физически ощутил, как обидно до слез бывает от собственного бессилия перед природой.

Но всё искупал один момент. Обеденный перерыв. Когда солнце стояло в зените, все валились в тень под деревьями. Взрослые доставали из сумок вареные яйца, пупырчатые огурцы прямо с грядки, зеленый лук, сало, ноздреватый хлеб и ледяной самодельный квас. Мы усаживались на траву — грязные, потные, с гудящими руками. Дед с его негнувшейся ногой травил байки. Взрослые смеялись, забывая об усталости. Еда была простой до невозможности, но вкусной до неприличия — потому что до нее нужно было дожить, отработав несколько часов в пекле. В такие моменты очень хотелось, чтобы время остановилось. Но отец поднимался первым, стряхивал крошки, и это был молчаливый приказ. Мы разбирали вилы и снова шли в жару.

Со временем я рос, и моя должность на сенокосе менялась. Сначала я просто греб. Потом меня стали ставить на стог — принимать и утапывать. А когда в плечах появилась сила, я уже сам метал сено длинными вилами на высоту до четырех метров. Это было настоящее искусство — поддеть тяжелую охапку так, чтобы она не разлетелась в воздухе и точно легла на вершину. Я смотрел на деда, который со своим ломаным коленом до самой старости подавал сено деревянными вилами, и понимал, что мне еще есть куда расти.

Один момент стал для меня абсолютным рубежом. Настоящим орденом поверх всех моих мозолей. Мне было лет тринадцать. Стояла глухая июльская жара. Несколько дней подряд мы работали на износ, таская вилами сено до самой темноты. Тело гудело, мышцы ныли так, что невозможно было пошевелиться. Однажды ранним утром я лежал в кровати. Глаза были закрыты. Я слышал шаги — родители подошли и остановились у моей постели, думая, что я крепко сплю. Я замер, боясь даже дышать. Они молча смотрели на меня, и в утренней тишине мама вполголоса произнесла:

— Заметил, как Андрей хорошо работает? Какой же молодец...

Я лежал и слушал, как к горлу подкатывает горячий комок. Это было лучше любых объятий, лучше любых громких слов. Это было признание меня равным.

Летний зной плавил нас, испытывая на прочность жарой, слепнями и усталостью. Но в деревне работа никогда не заканчивается — она просто меняет температурный режим. Когда скошенное сено ложилось под крышу, а земля промерзала до каменного звона, наступало другое время. Лето было шумным, многолюдным, бабьим и детским. А вот суровая зима становилась сугубо мужским делом.

Глава 7. Кремень и щепки

Лес всегда был для нас двумя разными мирами одновременно. Летом он принадлежал нам. Мы носились по нему, искали грибы, строили шалаши, жгли костры втайне от взрослых. Летний лес принимал нас без вопросов, прятал, кормил земляникой и отпускал домой к ужину.

Но зимой разговор был другой. Зимой лес становился тяжелой работой. Колхоз выделял делянку. Женщины туда не ездили — это была сугубо мужская территория. Мы отправлялись вчетвером: дед, отец и мы с братом. Ирина ездила с нами всего несколько раз, пока я не подрос и не стал полноценной заменой.

Мы грузились в отцовский «Газик» затемно, долго тряслись по накатанной колее, и лес встречал нас звенящей тишиной и сухим морозом, который хватал за щеки сразу, как только ты спрыгивал из кабины. Снег под ногами хрустел, а дышать поначалу было тяжело: мороз обжигал легкие, пока не поймашь правильный ритм.

Одевались мы тяжело и основательно. Дед ходил в старой фуфайке и меховой шапке-формовке — я всегда удивлялся, как у него в ней не отмерзают уши на таком ветру. На ногах, разумеется, валенки — только они спасали. Штаны мы всегда натягивали прямо поверх голенищ, чтобы внутрь не набились снег и колючие щепки.

Первым делом нужно было выбрать дерево. Этим всегда занимался дед Евдоким. Он шел между стволами медленно, придерживая шапку и задирая голову. Береза должна была быть ровной, без лишних сучьев — все, кто топил печь, знали, что она горит жарче других пород. Дед обходил дерево кругом, шурился, прикидывал. А потом останавливался и тяжело наклонялся к стволу, опираясь на него рукой. Стороннему наблюдателю показалось бы, что старик просто переводит дух — больная нога давала о себе знать. Но вблизи это выглядело иначе. Выглядело так, будто он просит у леса разрешения. Или заранее благодарит. По сути, так оно и было.

У него была веская причина искать у деревьев опору. На войну дед ушел в восемнадцать лет. Ростом он был всего метр сорок один. В полку его называли «сыном полка» — не обидно, а с той особой, грубоватой нежностью, с какой большие мужики относятся к маленьким, но невероятно упрямым. Он прошел Сталинградскую битву. Получил награду за мужество. Там же поймал пулю, которая в крошево раздробила ему коленную чашечку.

Но главную, невидимую рану он принес внутри. Дед редко говорил о фронте, но однажды, тяжело выпив, рассказал мне то, чего я никогда не забуду. В одном из боев он выстрелил по бегущему фашисту из противотанкового ружья. Отдача от этого тяжеленного орудия едва не сломала деда пополам, а когда пороховой дым рассеялся, он увидел, что огромная бронебойная пуля оставила в груди немца сквозную дыру размером с футбольный мяч.

Дед не хвалился этим. Этот кровавый, жуткий образ преследовал его. И, наверное, именно поэтому человек, состоявший из чистого кремня, периодически глухо и мрачно прикладывался к водке — чтобы хоть ненадолго залить эту дыру в собственной памяти.

Когда дед уходил от выбранного дерева, в дело вступал отец. У него была тяжеленная советская бензопила «Урал» с характерным зеленым бачком. Отец постоянно с ней возился:

чистил карбюратор, натягивал цепь. Но когда она заводилась, тишина кончалась. Громкий рев, рвущий морозный воздух, разлетался между стволами, сизый, вонючий дымок поднимался в белесое небо. Сразу становилось понятно — дело пошло.

Пила входила в мерзлую березу легко, как в масло. Мы с братом брали длинную палку с металлической вилкой на конце, упирались в ствол и давили со всей дури туда, куда дерево должно было упасть. Наша задача — не дать ему решить самому. Иногда оно всё равно решало по-своему, намертво зажимая шину пилы, и тогда отец глушил мотор, вбивал клин и заходил хитростью. Страшно было не когда дерево падало. Страшно было в ту звенящую секунду между хрустом ствола и ударом о землю, когда еще непонятно, куда именно оно рухнет.

Навалив несколько хлыстов, мы брались за топоры. По лесу разносился гулкий ритм ударов. Физика дерева зависела от мороза. В легкий минус береза была вязкой, гулкой, топор вяз, требовалось много сил — зато мы быстро согревались. А вот в сильные морозы дерево становилось хрупким: сучья рубились звонко и отлетали от одного удара, как по волшебству.

Однажды температура упала за минус тридцать. На открытом поле дул пронизывающий ветер, мы расчищали место под хлысты, и я перестал чувствовать пальцы.

— Пап, я замерзаю, — пожаловался я.

Отец даже не остановился.

— Работай лучше и быстрее, — бросил он. — Тогда и согреешься.

Никакой жалости. Суровая правда. Я стиснул зубы, замахал лопатой в два раза быстрее, и вскоре по рукам действительно пошло спасительное тепло.

Срубленная береза пахла древесно-кисловатым, живым, острым запахом, который в холодном воздухе стоял особенно четко. Сучья собирали в кучу и разжигали костер. Дед с отцом приучили нас жестко: взял — прибери. Лес дал — лес убери за собой.

В середине дня наступал обед. Мама собирала сумку с самого утра: термос с горячим чаем, хлеб, яйца вкрутую, сало, чеснок. Зимой, в лесу, у костра, эта обжигающая горло еда казалась вкуснейшей на свете. Дед садился на поваленный ствол, не спеша снимал рукавицы, доставал яйцо. Чистил медленно, покряхтывая. Успокоившись, глядя на огонь, он любил рассказывать. Про то, как жили раньше. Про людей, которых уже не было. Говорил без печали, спокойно — «Гена, покойничек» — с какой-то благодарной памятью, будто те, кого нет, стоят прямо здесь, за нашими спинами, и греют руки у огня.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.